

Сергей ЕРМОЛАЕВ

Жулька



Сергей Ермолаев

Колька

«Грифон»

2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Ермолаев С.

Колька / С. Ермолаев — «Грифон», 2019

ISBN 978-5-98862-444-8

«Следующие несколько дней принесли очередные сводки новостей с фронта, сообщавшие о затяжных ожесточенных боях и больших потерях. Смоленское сражение закончилось, поглотив в себя огромное число людских жизней, крови, слез и переживаний, войска Красной Армии с боями отступали к Москве... совсем несладко было под Ленинградом, вокруг которого замкнулось кольцо блокады... В ту же неделю в Арсеньевку пришла первая “похоронка”...» Повесть «Колька» Сергея Ермолаева рассказывает о повседневной жизни крестьян в деревне Арсеньевне, в Поволжье, в глубоком тылу во время Великой Отечественной войны. Герою повести – мальчику Коле – доводится испытать самому и увидеть в других, как боль, страх, зависть и злость перемешиваются в душах со светлыми человеческими чувствами: великодушием, отзывчивостью, мужеством и стойкостью, и как светлые чувства берут верх и побеждают. Без них человек не только на фронте, но и в мирной жизни не сможет остаться человеком и спасти других людей. Приключения Кольки и его друзей – отличное чтение!

УДК 821.161.1-3

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-98862-444-8

© Ермолаев С., 2019

© Грифон, 2019

Содержание

1	5
2	10
3	13
4	16
5	20
6	25
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Сергей Ермолаев

Колька. Повесть

1

Колька Воробьев сидел в сенях на старой, расшатанной, шершавой и поцарапанной во многих местах лавке, скукожившись и поджав под себя босые, избитые о кочки и колдобины ноги, и смотрел, как мать перебирает картошку. Кольке было грустно, и он сидел, понурился, нахмурился, шмыгая время от времени носом и с некоторым даже остервенением растирая болячку на правой ноге. Пасмурный и ветреный день середины сентября хотя и был в самом разгаре, нагонял тоску своим сумраком. Чтобы можно было разглядеть картошку, дверь на крыльцо была распахнута настежь.

– Ма-а! – протяжно позвал Колька.

Мать на его призыв никак не среагировала, а продолжала быстрыми движениями выхватывать из рассыпанной по полу кучи нужные клубни и забрасывать их с гулким стуком в ведро.

– Ма-ам! – опять затынул Колька теперь уже более настойчивым голосом, чтобы перекрыть звук ударяющихся клубней.

– Чего тебе? – отозвалась мать после третьего или четвертого призыва.

– Мам, скоро война кончится? – это был любимый Колькин вопрос, который он мог задавать на дню раз по десять.

– Да кто же ее знает, окаянную, – ответила мать машинально своей привычной фразой, которую она всегда произносила особенной интонацией, не так как все другие фразы. В ее голосе, обычно спокойном и сдержанном, в этот момент появлялось что-то дрожаще-стонущее, словно в ней нечто заболело.

– А папа скоро вернется? – продолжал Колька.

– Война кончится, тогда вернется.

– Он сразу вернется, как война кончится? Сразу-сразу?

– Сразу или немного погодя.

– И дед сразу вернется?

– И дед так же.

– А дядя Леша?

– Да, да, Колька, и дядя Леша, и папа, и дед, все тогда вернутся, – быстро и как-то вздохнув проговорила мать, а потом сразу отвернулась в сторону, закрыла лицо локтем и стояла так неподвижно, ничего не говоря, минуту или две, и только плечи ее едва заметно дрожали. – Что ты пристаешь ко мне? – добавила она затем нетвердым подрагивающим и непривычно тихим голосом. – Помог бы лучше.



Кольке не хотелось, конечно, возиться с картошкой, но, как-то чувствуя затаенную материнскую боль, он, жалея ее и чтобы не расстраивать, молча сполз с лавки и медленно, как во сне, принялся за картошку. Его усердия хватило минут на пять, не больше, а потом он, вскочив мигом, без всякого, как казалось, повода, побежал на веранду, чтобы выглянуть в окно. За окном было всё точно так же, что и час назад, что и утром, когда Колька проснулся. Моросил мелкий скучный дождичек, почти незаметный для глаз. На улице было пустынно, только тройка ворон, лениво подскакивая, крутилась на обочине дороги, ковыряясь в рыхлой земле. На воротах дома напротив появился серый худой потрепанный кот. Он прошел несколько шагов по забору, а потом соскочил на землю и юркнул в высокую подзаборную траву. Колька, прижавшись всем своим лицом к стеклу, продолжал смотреть на улицу,водя взглядом и налево, и направо, но вокруг больше не происходило ничего интересного.

– Ма-ам! Москва от нас далеко? – принялся он за второй куплет своей песни.

Мать, видимо, занятая какими-то своими мыслями, отозвалась не сразу:

– Далеко.

– Даже если на машине ехать?

– Хоть на поезде ездай, всё равно далеко.

– А папа на машине поехал или на поезде?

– Сначала на машине – до Куйбышева, а потом до Москвы на поезде, – мать говорила с паузами, будто прикидывая в уме, по какому маршруту могли отправить ополченцев из их деревни на фронт.

Деревня их – Арсеньевка – располагалась неподалеку от речки Чаган и на полпути между Куйбышевом и Уральском. Места по берегам Чагана, поросшие ельниками и дубовыми лесами, были довольно глухие, с множеством буреломов и оврагов, тянувшихся порою весьма затейливо. А по другую сторону реки Урал раскинулась безоглядным простором широкая засушливая степь.

– А Смоленск, мам, от нас далеко? – продолжил Колька расспросы.

– Далеко, сыночка, далеко. Еще дальше, чем Москва, – отвечала мать, и слова ее проскакивали в промежутках между стуком картофельных клубней.

В сводках Совинформбюро, доходивших в ту пору до Арсеньевки, сообщалось о тяжелых боях под Смоленском.

– Папа в Москву поехал или в Смоленск? – следовал очередной вопрос.

– Не знаю, Коленька. На фронт он поехал, это главное. Дед тоже на фронт, и дядя Леша – на фронт, и еще много-много других людей на фронт поехали. Фронт длинный, очень длинный, понимаешь?

– Они там будут Гитлера убивать?

– До Гитлера пока не достать, он очень далеко, в Германии своей, будь она неладна. Жалко, что не достать. Я, кажется, сама бы его, вот этими вот руками, измутила бы.

– Как меня, когда я без спроса с пацанами на речку убежал?

Мать на какое-то время даже остановилась и перестала перебирать картошку, с усилием распрямила затекшую спину, вздохнула, поправила одной рукой сползшую на бок косынку, задумалась, глядя куда-то вдаль, будто в том месте предполагала увидеть ненавистного Гитлера.

– Нет, сыночка, тебя я любя, от беспокойства только за тебя, чтоб не пугал так мать больше, а его – я бы из ненависти растерзала бы. Потому что он зверь, нет, хуже зверя, нечеловеческий злыдень какой-то. Не может так человек с другими людьми обращаться.

В голосе матери слышалось нечто такое, чего Колька раньше не замечал. Он задумался и притих.

На этом разговор как-то сам собой закончился. Мать продолжила перебирать картошку, а Колька ушел в дальнюю комнату, где он спал, достал из нижнего ящика комода потрепанный альбом и карандаши и, растянувшись прямо на полу рядом с комодом, принялся рисовать, как, по его представлениям, мама мутила бы Гитлера.

Следующие несколько дней принесли очередные сводки новостей с фронта, сообщавшие о затяжных ожесточенных боях и больших потерях. Смоленское сражение закончилось, поглотив в себя огромное число людских жизней, крови, слез и переживаний, войска Красной Армии с боями отступали к Москве. В тяжелейшем положении после Смоленского сражения оказался Юго-Западный фронт, и совсем несладко было под Ленинградом, вокруг которого замкнулось кольцо блокады. Начиналась долгая изматывающая и не менее кровопролитная, чем в других местах, эпопея на Синявинских высотах.

В тот день над Арсеньевкой дождя не было, хотя погода оставалась пасмурной и ветреной, но теплой. Порывы сухого ветра, приносившиеся из степи, пригибали высокие травы в полях и у дороги, рвали желтые и бурые съезжившиеся листья с деревьев и, подхватывая горсти мусора, носили их над землей, разметывая по разным сторонам.

Колька в тот день, пользуясь тем, что нет дождя, вышел погулять за ворота. Пришел на полянку за крайним домом у оврага, где обычно собиралась местная детвора, застал там еще несколько человек своих приятелей. Они играли в догонялки и весело галдели, поминутно споря, и наперебой доказывали друг другу, успели кого-то «засалить» или не вышло. Потом, когда устали от беготни и споров, расселись по пням и большим камням, лежащим по краю оврага.

Разговор «разгорелся» молниеносно и потек столь же оживленно, как и игра, предшествовавшая ему. Но только разница в том настроении, с которым велась игра, и в том, которое сопровождало разговор, была столь впечатляющая, что казалось совершенно невозможным, что те же самые дети, в тот же самый день и на том же самом месте стали будто совершенно другими. Тема, уже который день, оставалась неизменной – о войне.

– Вчера от тятки письмо пришло, – сообщил неугомонный и вертлявый Васька Лысков. Его темные жесткие волосы топорщились спереди, над ушами и на затылке, брови, которые, казалось, никогда у него не гнулись, прямыми линиями возвышались над глазами, а нос, скулы и щеки были покрыты мелкими царапинами, как если бы он пробирался через густой колю-

чий кустарник. Выражение его лица приобретало от этого более хмурый и суровый вид. – Ух! Пишет, что бои идут жуткие и частые-частые. Ну просто без передышки. Фашисты прут как саранча, со всех сторон, ух, гады ползучие.

– Говорят, их там целый миллион, представляете? – проговорила с придыханием и ужасом в голосе высокая и худая Надя Колесникова. Она сидела на самом широком пне, ссутулившись и втянув голову в плечи, сжав руки в кулачки и глядя вокруг себя пристально и строго, и на фоне широкого пня казалась еще худощавее. Ее продолговатое лицо, заостренный носик и выдающиеся ключицы напоминали Кольке Бабу-ягу, но характер у Нади, надо сказать, был на редкость добродушным. За ней даже водилась репутация примирителя. Если кто поссорился между собой, то иди к Надюхе Колесниковой – она вас помирят.

– Скажешь ты тоже, миллион. С ума сошла, дура, – бесцеремонно отозвался Пашка-Рябой. Прозвище его говорило само за себя. Он был такого же роста и такой же комплекции, как и большинство других ребят, хотя и был на год или даже на два старше остальных. Жил он вместе с матерью и теткой в маленькой и старой избе, которой уже давным-давно можно было бы и рухнуть, не стыдясь этого, но она еще каким-то чудом продолжала, пусть и кривехонько, но стоять. Обе женщины пьянствовали практически без перерыва днем и ночью и ничем в жизни, кроме самогона и кислушки, не интересовались, а куда подевался отец Пашкин, этого никто и не знал. То ли от природы, вобрав в себя скверные гены, то ли от жизни скотской, Пашка был существом раздражительным, нервным, злобным, задиристым и грубым. Он ни с кем никогда не разговаривал ласково, а чаще всего цинично и ругался матерными словечками, которых вдоволь наслушался от матери и тетки.

– Даже если и миллион, хоть бы и миллион, – подхватил опять Васька по-петушиному бойко, – пусть они там себе не воображают. У нас, если надо, и два миллиона найдется, и три найдется, сколько хошь найдется. Наши силы соберутся тогда и такого им отвесят по макушке и в загрювок, что они дальше своего Берлина тикать будут.

– Ну, ты, брат, будто уже воюешь, – тихонечко добавил Ваня Тимохин. Это был рассудительный мальчуган, светловолосый, с карими, очень выразительными глазами, всегда придававшими его лицу спокойный, но не безразличный вид. Ваня умел посмотреть так, что и без слов становилось понятно его мнение. Голос его, подстать взгляду, был насыщенным, будто бы настроенным неким умелым мастером на красивое гармоничное звучание. – У тебя отец в пехоте? – уточнил он у Васьки.

– Ага, – кивнул тот согласно головой.

– А мой батя – в артиллерии, – сказал Ваня. – Пишет, что бьют танки фашистские, а их много. В одном из боев в окружение попали, потом неделю вырывались обратно. Последнее письмо из госпиталя пришло и не бабкиной рукой написано.

Колька, посмотрев на Ваню, в который уже раз подумал, что тот настоящий счастливчик. Ване везло во многом, начиная с самого рождения. Взять хотя бы то обстоятельство, что родился он не кабы когда, а седьмого ноября – в день такого важного праздника. В этот день всегда было весело и у всех хорошее настроение, все проживают этот день с чувством гордости и с возвышенным настроением, а у того, кто в этот день родился, всё становится еще лучше, потому что у него двойной праздник. Кольке так не повезло – он родился в самый заурядный день, девятого мая, который в календаре ничем примечательным не выделялся. А теперь вот еще случилось так, что отец Вани – командир артиллерийского расчета, а у остальных ребят отцы просто рядовые пехотинцы.

Колька и некоторые другие ребята молча слушали, но в этот момент все по очереди стали называть род войск, в котором воевали их родные. Оказалось, что подавляющее большинство из них в пехотных частях, только у Вани и у Кати отцы были в артиллерии, а у маленького веснушчатого Толика с большими зеленоватыми глазами папа был сапером.

– А где же наши танки? – опять тревожно проговорила Надя, глядя куда-то в сторону, как если бы там она надеялась увидеть советские танки, идущие ровными длинными рядами, протянувшимися вдоль всего горизонта. – У нас ведь тоже есть танки.

– Конечно, есть, – молниеносно отозвался Васька. – Их для генерального наступления приберегают.

– А когда оно будет, это самое наступление? Уже скорее бы.

– Когда надо, тогда и будет, – Васька говорил так, будто он, по меньшей мере, член Ставки Верховного Главнокомандования и именно он разрабатывает все наступательные операции.

Но вместо предполагаемых танков из-за леса наплыла тяжеловесная, серая, расплывшаяся во все стороны туча, и, сначала лениво, а потом всё резвее, стал накрапывать холодный дождь. Ребята, очень нехотя, но разошлись по домам.

2

В ту же неделю в Арсеньевку пришла первая «похоронка». Ее получила соседка Воробьевых – тетя Лида, как привык ее называть Колька, хотя она была ему вовсе и не тетка, но сколько раз по-соседски угощавшая его яблоками, малиной или свежим, только-только сорванным с грядки огурцом. Ее сын – Михаил, окончивший школу в позапрошлом году и начавший работать в колхозе трактористом еще до того, когда прозвенел для него последний звонок, ушел на фронт в июне одним из самых первых. Он был тихим и спокойным, неторопливым и, по большей части, незаметным парнем, окунувшимся в свою работу до такой степени, что, казалось, ничего более он не замечает. Он редко отвлекался от своего дела и мало разговаривал. Но всё же Колька его очень хорошо помнил. Ему ясно рисовались в памяти взгляд Михаила, задумчивый и сосредоточенный, его походка, неторопливая и немного раскачивающаяся, его энергичные, размашистые движения, когда он колол дрова или вскапывал огород. Тогда Колька взглядывал на Михаила как на привычное дерево в углу двора, будто не замечая или, точнее сказать, не находя в нем ничего особенного. А теперь оказалось, что в его, Колькиной, памяти осталось превеликое множество всяких мелких подробностей: вот Михаил оглянулся в его сторону, проходя мимо по улице, и кивнул приветливо; вот он взвалил на плечо быстрым и ловким движением мешок картошки и потащил его, почти не сгибаясь, от крыльца к телеге; вот он стоит, распрямившись во весь рост, посреди залитого солнцем двора и, будто играючи на балалайке, точит косу. Сколько всего осталось в памяти! Колька будто видел это всё опять и опять и не мог поверить тому, что наяву он Михаила никогда больше не увидит.

Почтальона, привозившего почту в Арсеньевку, встречали теперь у самого въезда в деревню. Едва только раздавалось дребезжание и позвякивание его уже далеко не нового велосипеда и на повороте, из-за опушки леса, скрывавшей дорогу, показывалась его приземистая худощавая и сутуловатая фигура, как навстречу ему уже спешили сельские. Известий с фронта ожидали не без опаски, с затаенной тревогой, но и большим нетерпением.

Почтальон, Иван Митрофанович, уже седовласый человек, которому перевалило за шестьдесят, останавливал велосипед возле крайней избы и, едва успев перевести дух, начинал раздавать почту. Люди стояли вокруг почтальона плотным кольцом, молчаливо ожидая жребий, который в тот день уготовила им судьба. Ребята прежде сновали беспокойной стайкой, но рано или поздно им тоже передавалось напряженное состояние той минуты, которая каждому из ожидавших своей очереди казалась бесконечно длинной. По выражению лица почтальона, по его движениям люди научились догадываться о том, какой почты сегодня будет больше: писем или «похоронок». Ребятам тоже пытались тянуть руки к свернутым листам бумаги, но «серьезную корреспонденцию», как ее именовал Иван Митрофанович, он детям не доверял. Им он обычно раздавал газеты, агитлистки, а еще, бывало, насыпал им в ладошки припасенные семечки подсолнуха или раздобытые где-то по случаю мелкие липкие леденцы.

А еще Иван Митрофанович умел ловко делать деревянные свистульки в виде птичек размером с ладонь. Он вырезал птичью фигурку из липовых или березовых череночков, рисовал на ней краской глаза, перья, прорезал нужные отверстия, и игрушечка звонко свистела. Он рассказывал, что научился их делать очень давно, когда сам был подростком, у своего деда, бывшего всю свою долгую жизнь столяром. Такие свистульки нравились всем ребятам. Иван Митрофанович мастерил их теперь по просьбе детворы, чтобы себя тоже чем-то занять по вечерам и отвлечь от тревожных мыслей.

Как-то уже в конце октября, когда осенняя погода превратила окрестный пейзаж в серую угрюмую массу деревьев и кустарников, а дорогу – в хлюпающее и чавкающее, липкое месиво грязи, поддерживаемое частыми холодными дождями, Иван Митрофанович стал приезжать в Арсеньевку не на велосипеде, а на телеге, запряженной старой пегой кобылой. В один из

пасмурных холодных дней он привез с собой целый десяток новых свистулек. Сначала он раздал почту, угостил малышей леденцами, а потом, прежде чем идти по домам к тем, кто по каким-то причинам не вышел к нему навстречу за почтой, вынул из темно-зеленого, прихваченного с собою вещмешка свистульки. Вокруг него столпились ребята, а среди них и Васька Лысков, который неделю назад, в предыдущий приезд Ивана Митрофановича в Арсеньевку, просил у него такую игрушку. Старый почтальон, не проронив ни слова и не обращая внимания на множество протянутых к нему худых и пухленьких, бледных и смуглых ручонков, выбрал из груды игрушек самую большую и расписную и протянул ее решительным жестом Ваське. Тот вмиг обрадовался, выкрикнул «Ура!», и все уже ожидали, что он сейчас отделится от тех, кто еще ждал, и побежит куда-нибудь, чтобы показывать свое «богатство» кому-то, кто еще не видел. Ожидал этого и сам почтальон, но в последний момент Васька, готовый уже сорваться с места, встретился взглядом с Митрофаньчем и уловил в том взгляде нечто такое, что, будто якорной цепью корабль, остановило его на месте. Васька замер, вспомнив о чем-то, замер и почтальон. Он вроде бы уже переключился на других детей, но движения его, простые и уверенные ранее, вдруг стали суетливыми, а голос, словно сорвавшись, задрожал. Васька шестым чувством уловил то, что более никак уловить было невозможно. «А письмо от бабки есть? – спросил Васька уверенно и бодро. – Я тогда мамку позову?» Иван Митрофанович, ничего не отвечая и стараясь сделать вид, будто не услышал Васькиного вопроса, продолжил раздавать свистульки. Но Васька был не из тех, кто легко отстанет. Напротив, с еще большим рвением и еще громче он повторил: «Письмо от бабки есть?» Почтальон неопределенно мотнул головой и тихим голосом, путаясь в мыслях и словах, проговорил: «Иди, Васек, играй. Я сам зайду к мамке, не беспокойся». Васька стоял всё на том же месте, не двигаясь. Со стороны он выглядел задумавшимся, притихшим в каком-то умиротворенном забытьи. На его лице, обычно насыщенном разнообразной мимикой, сейчас застыло каменное, бесстрастное выражение. Так протянулись секунд десять, а потом над всей округой, вспугнув стаю ворон на дереве и собак в соседних домах, заставив вздрогнуть всех, кто оказался рядом, раздался оглушающий, пронизанный жгучей разрывающей болью и отчаянием Васькин вопль: «Не-е-т! Нет же, не-е-ет! Неправда это!» В следующий момент его затрясло: дрожали и руки, и ноги, и голова, лицо исказилось уродливой неуправляемой гримасой, и слезы полились из глаз. Васька уже не мог выговорить никакие слова, он икал, и отрывистые надрывные стоны вырывались из его горла. Все другие ребята растерялись, а Иван Митрофанович, отложив вещмешок и свистульки в телегу, обхватил Ваську за плечи, прижал его голову к своей груди и, уронив седовласую голову поверх Васькиной макушки, зажмурился и тоже зарыдал, но тихо, без малейшего всхлипа роняя редкие слезы на темную Васькину шапку. «Держись, малец, держись, – приговаривал он едва слышно. – Держись, милый, иначе нельзя. Нам всем теперича выдержать и выстоять надо».

Мать Васьки, Клавдия Ивановна, высокая худая женщина с редкими рыжеватыми волосами, впалыми щеками и крупным носом, долго потом сидела за столом, подпирая голову длинными костлявыми руками и склонившись над серым шершавым листком извещения о гибели мужа. Незамысловатая фраза «похоронки», коротко сообщавшая о том, что рядовой пехотного батальона Лысков Алексей Степанович пал смертью храбрых в боях под городом Клин, расплывалась в бесформенные каракули перед ее взглядом. Клавдия Ивановна пыталась собраться с мыслями, но мыслей никаких не было. Она чувствовала озноб и куталась в цветастый шерстяной платок, покрывавший ее худые угловатые плечи. Ей казалось, что перед ее глазами пустота, будто все предметы окружающего мира бесследно исчезли. Везде было пусто – и снаружи, вокруг нее, и внутри, в душе. Хотелось вскочить на ноги и рвануть что есть силы за некую невидимую нить, чтобы разорвать эту безжизненную тоскливую пустоту, но вскочить не было сил, пустота сковывала и придавливала к месту.

А Васька, убежав за край деревни, к стонущему непонятным таинственным воем лесу, сидел на корточках перед широким дубовым пнем, раскрыв перочинный ножичек, которым частенько хвалился ребятам, и в охватившей его злой одержимости, не обращая внимания на обильно стекавшие по щекам слезы, с остервенением колотил им по пню. Лезвие вонзалось в твердую древесину и гнулось. Наконец, не выдержав, с резким звенящим щелчком оно переломилось, и отломившаяся часть застряла в древесине. Васька даже не заметил этого. Он продолжал колотить рукоятью ножичка по пню, оставляя мелкие вмятины на его поверхности и кровавые ссадины на своей руке. Васька всхлипывал и шмыгал носом, а временами его рев, негромкий, но жалобный и очень тоскливый, тянулся непрерывно и сливался с таинственным воем ветра в лесу. В конце концов обессиленный Васька повалился на пень ничком, уткнувшись лицом в истыканную, окрасившуюся его кровью древесину. Вокруг него собрались ребята. Никто сначала не решался подойти близко, но через минуту маленькая девочка Катя, жившая по соседству с Лысковыми, сделала несколько шажков, взялась своими маленькими ручонками за Васькино плечо и затормозила его. «Вася, иди домой, тебя мама ждет», – уговаривала она его тонюсеньким голоском. Она тормошила и уговаривала его целую минуту или даже дольше, а потом Васька встал на ноги, выронил обломок ножа и, размазывая по лицу слезы, поплелся домой. Столпившиеся в беспорядочную группу ребята молча провожали его взглядами. Всем было очень страшно, и никто не мог скрыть этого.

3

В доме у Воробьевых рядом с верандой и чуланом находилась маленькая комната, выходящая окном на огород, в которой у деда и отца была оборудована столярная мастерская. Еще одна «столярка» находилась с одной из сторон сарая под навесом, но она использовалась только летом.

Колька частенько заходил в комнату-мастерскую и засиживался там, бывало, по целому часу. Ему нравилось бывать здесь и чувствовать особенный смолистый аромат древесины и еще сохранившийся легкими, едва заметными оттенками запах краски. Он усаживался на табурет в углу, прижимался лопатками и затылком к гладкой, выкрашенной светло-зеленой краской стене, подтянув колени к груди, упирался пятками в край табурета. Он обхватывал колени руками и сидел в этой позе довольно долго, частенько зажмуривая глаза и окунаясь в воспоминания о том, как до войны отец и дед работали в этой комнате за верстаками, а Колька подходил то к одному, то к другому, примостившись рядышком, внимательным жадным взглядом следил за их манипуляциями. На каждом из верстаков разливалось яркое пятно света от лампы, и в этом пятне лежали дощечки и инструменты. Инструменты попадали в руки отца или деда и начинали свой танец вокруг дощечек. Танец порою случался мудреный, а иногда совсем незатейливый, но всякий раз усердный и старательный. Дощечки становились нужной формы, гладкими, красивыми и правильными в том смысле, что у них появлялось свое предназначение, оно прорисовывалось вместе с их формой и размерами, и дед с отцом называли их уже иначе – не «деревяшками-заготовками», а «изделиями». Частенько с формой и размерами появлялась еще и новая окраска. Кольке особенно нравился именно этот процесс – окрашивание, или травление, как его называли дед и отец. Дощечки становились желтоватыми, коричневыми, красно-бурыми, с зеленоватым отливом или голубым.

В мастерской редко когда бывало шумно, даже в те часы, когда отец и дед усиленно работали. Колька заметил, что здесь молотки звучали как-то сдержанно, без резкого стука, деликатно, ножовки и пилы тоже не визжали во всю мочь, а только скромно попискивали. «У хорошего мастера не должно быть грохота», – сказал как-то дед наставительно, объясняя Кольке, как надо управляться с киянкой и долотом. «Не суетись и не колоти бездумно, что есть мочи. Думаешь, если сильнее ударишь, то лучше получится? Как бы не так, милый мой». Голос деда был простой, немного жужжащий, но главное – наполненный какими-то мелодичными переживаниями. Петь дед тоже мог хорошо, звучно и с чувством, так, что, когда слушаешь, то голос его будто внутрь проникает и душу будто теплым ласковым ветерком овеивает.

Кольке никогда не бывало скучно в мастерской.

В центре мастерской был оставлен низкий журнальный столик с красивыми изогнутыми ножками. Но самая главная его часть – столешница – осталась незавершенной. Отец не успел закончить ее инкрустацию, война помешала. От него и от деда Колька услышал про маркетри и интарсию. Ему сразу же, с первой минуты, как он увидел его, приглянулся этот способ отделки. Он был настолько впечатлен этой техникой, что уговаривал отца позволить ему попробовать «сделать хоть маленечко» – до тех пор, пока тот не согласился. Колька жадно улавливал каждое слово отца, объяснявшего ему, как надо брать тоненькую пластинку шпона, наносить на нее клей, укладывать на предназначенное ей место в рисунке. Колька успел попробовать себя в роли мастера, но лишь немного. Теперь, всякий раз заходя в мастерскую и усаживаясь на табурет, он непременно всматривался в оставленный столик, казавшийся одиноким деревцем в степи. Чаще всего, практически всегда, Колька вспоминал именно тот момент, когда под наставительные реплики отца и с его помощью приклеивал шпон к основе. Он хорошо различал те четыре маленькие пластинки, вставленные им лично в рисунок, которые занимали совсем маленькое пространство, но казались ему самыми привлекательными и чудесными.

Всего же только небольшая часть мозаики в одном из уголков стола была выложена, другая, большая часть, оставалась аккуратно разложенной на верстаке. Колька брал в руки шпон, выбирая какую-то одну пластинку из множества, и внимательно рассматривал его в свете лампы. Его взгляд скользил по изящным изгибам края и по протравленной, принявшей уже законченный оттенок поверхности.

Однажды во сне он опять увидел ту сцену, ту самую, когда он, склонившись низко над столиком, опускает пластинку шпона на предназначенное ей место. Рядом с ним – такая же склоненная фигура отца, его большая, крепкая и ловкая, со смуглой кожей, рука, проворно помогающая худеньким и вялым ручонкам сына. Колька будто бы услышал ровное и теплое дыхание отца, его басистый уверенный голос: «Еще, еще немножечко, вот сюда, чтобы края плотнее прилегали и ровнее линия получалась». Над ними разливался яркий солнечный свет, как бы не в комнате, а на открытом месте они были, и вокруг расстился летний луг с множеством ярких цветов и сочной июньской травой. Он помнил и ощущал эту траву, она была в самом соку в теплые дни, предшествовавшие началу войны, когда жизнь была безмятежной и радостной.

«Папочка! Когда же мы будем стол доделывать?» – крикнул Колька во сне что было сил, опасаясь, что отец может его не услышать, хотя находился рядом с ним.

«Скоро, Коленка, скоро уже, вернусь я с войны и сделаю стол полностью», – услышал Колька голос отца, звучащий приглушенно, доносившийся будто издалека.

Сон этот приснился Кольке в ночь на воскресенье. Он проснулся поздно, когда на улице рассвело. Вспомнив сон, он сразу же взбодрился и пришел в хорошее расположение духа. Ему захотелось без промедления побежать в мастерскую, потому что казалось, что, распахнув дверь мастерской, он увидит отца, как тот в своих рабочих рубахе и штанах, сидя на корточках, старательно приклеивает пластинки шпона. Поддаваясь своему порыву, Колька вскочил с кровати и, едва успев натянуть штаны и только по счастливой случайности не зацепив ногами проходившего мимо кота, кинулся в мастерскую. Там было темно и тихо, как обычно пахло деревом, клеем и краской, где-то в углу под потолком жужжала муха. Все заготовки и инструменты располагались на прежних местах, и ничего, совершенно ничего, в мастерской не изменилось. Колька с чувством разочарования замер в проеме распахнутой двери.

– Ты чего как полоумный по избе шастаешь? – обратилась к нему бабуля, поливавшая из ковшика комнатные цветы в горшках. Она аккуратно, с сосредоточенным видом, выплескивала небольшие порции воды поочередно в горшки, наблюдая, хорошо ли впитывается вода и не лишнего ли получилось налить. Время от времени она поправляла на лице очки, сползавшие с переносицы, и тихонько нашептывала что-то себе под нос.

– Я только хотел посмотреть... – начал говорить Колька, но оборвал свою фразу на этом месте и молча пошел обратно в спальню.

– Чего там смотреть-то, – проговорила бабуля с легким придыханием, – там работать надо. Вот вернутся дед с отцом с войны, тогда пойдет работа. Куда ты поплелся-то? – крикнула она вслед Кольке. – Садись за стол, завтракать сейчас поставлю.

Завтракал Колька без настроения. Занятый своими суматошно меняющимися мыслями, он вяло и нехотя пережевывал хлебный мякиш и яйцо, сваренное вкрутую. Бабуля налила ему в кружку теплого молока, и Колька с тем же отрешенным видом выпил всё до последнего глотка. Он не заметил, как у него появилась мысль, которая, будучи осознана, сильно взволновала его. Возможно, именно во время сна она родилась и неким образом скрытно вселилась в его сознание. Мысль была о том, что отец вернется с войны, если стол будет доделан. Наверное, именно на это он намекал в Колькином сне, но тот его неправильно понял, не уловил истинного смысла. Теперь же Колька, раздумывая над этим вопросом всё свободное время и днем, и вечером, и перед сном, всё больше приходил к убеждению, что стол должен быть готов полностью, именно в этом залог благополучного возвращения отца с войны. За день он не один раз захо-

дил в мастерскую и усаживался на свое излюбленное место на табурет. Взгляд его неминуемо ложился на стол с начатой и незаконченной инкрустацией, и в его воображении, будто наяву, появлялся образ отца – бодрого, улыбающегося, веселого, с маленькими, почти неприметными морщинками на лбу и около глаз. Колька протягивал к отцу руки и шепотом, как заговорщик, спрашивал у него: «Папа, можно я сам доделаю мозаику на столе?», а потом несколько секунд с тревогой, затаив дыхание, ждал ответ. Он был уверен и даже мог бы поклясться, что отец утвердительно кивал ему, подмигивал глазом, и лицо его от этого становилось еще веселее.

– Я обязательно, обязательно это сделаю! – в порыве радости Колька почти выкрикнул эту фразу и тут же осекся, сообразив, что его возглас, наверное, был слышен в других комнатах дома.

4

На окраине Арсеньевки, поодаль от других домов, расположилась небольшая изба, срубленная некогда из добротных сосновых бревен и принадлежавшая с момента постройки местному леснику Миرونу Алексеевичу. Изба стояла скорее ближе к лесу, чем к деревне, но леснику такое расположение было только на руку. Был тот человеком хозяйственным, трудолюбивым, отзывчивым на чужую просьбу и с веселым нравом, в Арсеньевке его уважали и часто в дом его захаживали гости. Женат он был на женщине родом из соседней деревни и бывшей старше его на пять лет. Супруга его, Прасковья Александровна, с детства имела недуг – она заикалась и порою, в минуту волнения, затруднялась с речью так сильно, что не могла вымолвить членораздельно и одного слова. В прочем она была самой обыкновенной женщиной, среднего роста и умеренной полноты, с серо-зелеными глазами и широким овалом лица. Ее внешность нельзя было назвать привлекательной, но и ничего неприятного и отталкивающего в ней не было. Редкие рыжеватые волосы она всегда аккуратно заплетала в косу и укладывала ее на затылке. По характеру Прасковья Александровна была женщиной покладистой и спокойной, расчетливой и достаточно хитрой, такой, что на рожон не лезла, мужу не перечила, но в случае надобности настроить его нужным для себя образом умела.

Прожили вместе Мирон Алексеевич и его супруга лет примерно двадцать, и родился у них один единственный сын – Леонид, в котором оба они души не чаяли и заботились о нем безмерно. Забота эта требовалась тем значительнее, что Леонид оказался ребенком с нездоровой психикой и слабым умом. Он часто сидел один на поляне, в стороне от других ребят, разговаривая сам с собою и произнося при этом странные, никому не понятные фразы. Иногда же он разговаривал «по делу» и мог нормально отвечать на обыденные вопросы. Он выучился читать и писать, немного считать, но дальше начальных знаний его дела в школе не пошли. Он сидел на уроках с отрешенным видом, не реагируя на звуки и события, а порою вдруг вставал и уходил из класса. Но далеко он никогда не отлучался, его всегда находили – либо на школьном дворе, на поленице, сложенной под навесом по краю двора, либо позади школы, на участке под высокой липой. Он сидел тихо, держа в руках спичечную коробку, в которой были спрятаны засохшие жук или оса. Он всегда носил эту коробку с собой, часто вынимал ее из кармана штанов, заглядывал в нее, словно чтобы удостовериться в том, что ее содержимое в целости и сохранности.

Была у Леонида еще одна привязанность, казавшаяся странной для его умственной слабости. Еще ребенком он увидел, как отец его играл партию в шахматы с зашедшим к нему односельчанином, с которым нередко он общался не столько для какого-то дела, сколько по-приятельски. Нельзя сказать, что шахматы были большим увлечением для Мирона Алексеевича, но игра эта ему нравилась, и он любил сыграть пару другую партий, сопровождая их незатейливым разговором. Леониду игра была непонятна, и не под силу было его уму вникнуть в суть ходов, разнообразных позиций и комбинаций, но ему поразительным образом приглянулись сами фигуры. Он с удовольствием брал их в руки, подносил близко к лицу и рассматривал внимательно, с интересом, словно любуясь, поглаживая пальцами их гладкую поверхность. Случалось, он сам расставлял фигуры на доске, но не тем строем, как это было принято, а по-своему, как ему вздумалось в данный момент. Он передвигал фигуры по доске сразу несколько одновременно, и белые, и черные, медленно и плавно, будто кукол в хороводе.

Его никогда не трогала ни одна собака. Самые отчаянные и злые псы оставались равнодушными к нему и пропускали его мимо без всякого внимания. Так и рос Леня в тихом и неприметном одиночестве. Правда, он был весьма покладистым, терпеливым в труде, от которого не увиливал, и прилежно помогал отцу и матери по хозяйству. Мирон Алексеевич и Прасковья Александровна дожидались его совершеннолетия, чтобы устроить на подходящую

работу в колхозе. Случилось так, что Прасковья Александровна до этого момента не дожила, скончавшись от сердечной недостаточности в то время, когда Лене было отроду шестнадцать. С тех пор минуло уже восемь лет, Мирону Алексеевичу шел шестьдесят второй год, у него отказали ноги, и он с большим трудом передвигался по дому, опираясь на большой крепкий стул. Значительную часть времени он лежал навзничь на кровати в маленькой темной комнате с плотно задернутыми выцветшими красно-синими шторами, широко раскинув руки и отвернув голову к стене, с закрытыми глазами, и казалось, что он спит. Но на самом деле он не спал, даже по ночам его часто мучила бессонница. Только на короткое время, под утро, он забывался беспокойным сном, во время которого нередко бормотал что-то тихо и нечленораздельно. Леонид ухаживал за отцом, вел домашнее хозяйство и работал в колхозе. Человеком он оставался неприметным, жил очень уединенно, и казалось, что единственным его увлечением в жизни оставалась спичечная коробка, которую он, несмотря на возраст, продолжал везде носить с собой, и в которой по-прежнему хранилось засохшее чучело жука.

Как-то раз, в самом начале октября, когда вместо заморозков вдруг случилась неожиданная, а потому еще более приятная теплая неделя, возвращаясь из леса и проходя мимо дома старого лесника, Коля и Ваня услышали четко прозвучавший и показавшийся им испуганным голос Мирона Алексеевича. «Уйди! Уйди, не трожь меня!» – донеслось неожиданно до слуха мальчиков. Они оба мгновенно остановились и замерли на месте.

– С кем это он? – удивился Колька.

– Не знаю, кто там может быть. Если только Леонид, – столь же недоуменно проговорил Ваня.

Та же самая фраза прозвучала вновь, и голос стал еще более взволнованным и резким.

– Давай подойдем ближе, – предложил Ваня.

Они подошли к самой оgrade, выстроенной из тонких березовых досок, прикинули к ней лицами, стали заглядывать в щели. За оградой виднелись высокая трава, кусты, дом с крыльцом под навесом, но больше не было видно ничего. «Нет! Нет! Ты – дьявол! Ты – кровопийца! Не трожь меня, не смей!» – голос звучал прерывисто, с короткими паузами, но четко.

– Его душат, – предположил Ваня. – Надо что-то делать.

Они оба стали оглядываться по сторонам, надеясь увидеть кого-то, кого можно кликнуть на помощь, но на улице царил безлюдная пустота. До ближайших домов было метров двести, да и застать там можно в этот час разве что стариков и детей. Все мало-мальски здоровые люди работали на ферме или в поле.

– Пока мы бегаем за кем-то, его убьют, – сказал Ваня, вздергивая вверх брови и сжимая руки в кулаки. – Мы только сами можем что-то сделать.

– А кто его? – опять спросил растерявшийся Колька.

– Откуда же я знаю. Надо действовать, но только хладнокровно. Главное, без паники. Бери ту палку, а я эту. Перелезаем! – скомандовал Ваня спокойно и решительно, но в голосе его всё же слышалась дрожь.

Они подобрали на дороге палки, которые казались крепкими и длинными, и быстро перемахнули через забор, затем так же быстро подбежали к крыльцу. Собаки в хозяйстве у Леонида не было, и никто их не останавливал.

Ваня взялся за ручку двери, потянул за нее, но она оказалась запертой. Мальчики недоуменно переглянулись.

– Но тот как-то попал внутрь, – проговорил Ваня, но сразу же некая мысль мелькнула в его голове, он заглянул за угол и шепотом сообщил: – Окно открыто.

Стараясь не издавать шума, они живо подкатили к окну чурбан для колки дров, встали на него и друг за другом пролезли внутрь; оказались на кухне. Ваня, держа перед собой занесенную как в замахе палку, осторожными шагами продвигался вперед. Колька шел вслед за ним. От волнения у него вспотели ладони, дрожали колени и бежали мурашки по всему телу.

Он стиснул зубы, чтобы не закричать, но дышал в то же время часто и шумно. Кольке казалось, будто его дыхание слышно на весь дом – как пыхтение разгоняющегося паровоза. Ему хотелось немедленно подскочить к чему-нибудь, пусть даже к столу или к буфету, и начать колотить по нему палкой, будто это сказочное чудище трехголовое, а он добрый витязь. Так Колька делал, когда играл в своем дворе, и тогда всё получалось здорово, но сейчас где-то в другой комнате их поджидал отнюдь не сказочный злодей. Кто им мог быть – неизвестно, а от этого становилось намного страшнее.

Крики старого лесника продолжали доноситься из глубины дома.

Ваня казался спокойным, но Колька всё же заметил капельки пота на его лбу и частое моргание век.

Прижимаясь локтями и плечами, они протиснулись из кухни в горницу, а затем из горницы в другую комнату. Внимание Кольки до такой степени было приковано к дверному проему в ту комнату, что он вовсе не посмотрел ни на что в горнице.

Ваня и Колька замерли в проходе с поднятыми над головами палками. В глубине комнаты, в углу, который казался самым темным, стояла кровать. Рядом с кроватью на полу валялась скомканная подушка в сильно измятой и засаленной наволочке, в разных концах комнаты оказались разбросаны ботинки. Одеядо, непропорционально фигуре человека маленькое, может, даже детское, свисало с края кровати на пол. На столе, стоявшем возле кровати, в беспорядке была разбросана посуда, опрокинутый стакан лежал на боку, в середине стола маленьким озерцом расплзлась пролившаяся из стакана вода, и в ней будто маленький кораблик виднелась чайная ложка.

На кровати, скорчившись в странной неестественной позе, прижимая к животу руки и согнутые в коленях худые, покрытые черными волосами ноги, отвернувшись лицом к стене, лежал Мирон Алексеевич. Он был в большой белой рубахе и черных трусах.

Больше в комнате никого не было.

Время тянулось очень медленно. Мирон Алексеевич лежал неподвижно, будто большой, вытянутой формы камень.

Колька почувствовал, что его сердце сжимается от ужаса, подбородок задрожал, а где-то внутри появилось противное тошнотворное ощущение.

– Он мертвый, – едва слышно и почти нечленораздельно прошептал Ваня.

От этих слов перед глазами Кольки всё помутнело и поплыло, и он прислонился к косяку, чтобы не упасть. В следующую минуту раздался тягучий, монотонный, терзающий нервы скрип, голова лесника приподнялась над постелью, и его лицо медленно, будто это происходило с большим усилием и болью, повернулось к мальчикам. Колька различил непонимающий, казалось, испуганный взгляд одичавшего человека. Глаза Мирона Алексеевича сначала сузились в тонкую щелку, а затем веки внезапно раздвинулись, освобождая глазные яблоки, делая похожими его глаза на глаза хамелеона. Становилось ясно, что зрение у старого лесника стало совсем плохим, и он что есть сил пытался разглядеть расплывчатые блеклые пятна, застывшие перед ним. Встать с кровати ему стоило немалых сил, а потому он лишь беспомощно двигал веками и вытягивал вперед худую, покрытую морщинистой кожей руку. Внезапно, без всякого изменения в окаменевшем выражении лица, он резко выкрикнул:

– Уйди! Сгинь, дьявол! Не трожь меня, кровопийца!

В возбуждении он стал нервно шарить рукой по столу, стараясь нащупать стакан, чтобы, по-видимому, запустить им по тому, что казалось ему дьяволом.

Ваня и Колька, заметно вздрогнув, попятнулись и в следующую секунду бросились убежать. Они выпрыгнули в открытое окно и без промедления рванули со двора лесничего. Добежав до других домов, они остановились и перевели дух.

– Ты думаешь, его действительно кто-то хотел убить? – делая частые вдохи, спросил Колька.

– Нет, скорее, он просто тронулся умом, и теперь ему мерещатся дьявол, кровопийцы, убийцы и всякие чудовища, наверное, – Ваня тоже был порядком потрясен и выглядел всклокоченным и обескураженным.

– А что если ему не померещилось? – сомневался Колька.

– Там же никого больше не было! Хотя, мы и не искали. Может, в другой комнате кто-то прятался? Или он успел выскочить, пока мы у двери были?

Они повернулись одновременно один к другому, и их взгляды встретились.

– Рассказать кому-нибудь? В школе, учителю или директору, – предложил Колька.

– Поверят ли? Скажут, померещилось нам или что мы всё это выдумали.

Некоторое время они шли молча, раздумывая над происшедшим, потом Ваня сказал:

– А ведь следов других под окном не было видно.

– Может, лесник правда просто с ума сбрендил, вот и вопил как ненормальный.

– Одичал он совсем в одиночестве, – согласился Ваня, – как на необитаемом острове живет. Ленька умом слабый, и батя его тоже, вместе с ним, тронулся. Жалко его.

5

Дело, задуманное Колькой, требовало, безусловно, аккуратности и хорошего настроения, такого настроения, чтобы терпение и старание позволяли бы делать всё, как требуется, без спешки и главное – без нервного раздражения, которое может сбить с толку и испортить работу. Колька не столько понимал, сколько чувствовал эту необходимость, но он чувствовал также и то, признаваясь себе в этом с полной откровенностью, что сохранять спокойствие во время трудного дела – это задача весьма непростая. Надо было обязательно вспомнить всё, что говорил отец, и подготовиться надо, ведь его сейчас нет рядом и некому подсказывать и помогать, поправляя и направляя Колькины руки.

Колька выбрал тот момент, когда домашние уроки были уже выполнены, мать ушла на ферму, а бабушка тоже была чем-то очень занята по хозяйству. Он как обычно тихонько проскользнул в мастерскую, разыскал в шкафчике с материалами небольшой брусок столярного клея, плюхнул его на специальную металлическую плошку, служившую клеянкой, налил воду в клей и нижнюю часть клеянки и стал разогревать ее на огне. Фитиль горел ровно, без резких сполохов, ярким желтым огоньком. Клеевой брусок в разогретой воде растопился и стал похожим на желе. Теперь наступил очень важный момент. Колька нашел среди деревянных брусков маленькую палочку наподобие обломанного карандаша и опустил ее одним концом в клей. Вынув ее, он стал ждать, внимательно присматриваясь к стекающей жиже. Та потекла вязкой тягучей непрерывной массой. Колька, решив, что клей подходящий, снял клеянку с огня и перенес ее к столику, поставил на подставку. Он затушил огонь, накрыв фитиль специальной крышечкой, вдохнул слегка едкий запах дымового облачка и чихнул. Ему не терпелось приступить к делу, но вместе с тем он чувствовал тот волнующий озноб, ту отчаянную дрожь в пальцах, порождаемую осознанием навалившейся на него ответственности оттого, что ему придется всё делать самостоятельно и некому будет ему подсказывать и исправлять оплошности.



«Всё должен сделать я сам! – повторял мысленно самому себе Колька, потирая лоб и сосредоточенно глядя на пластинки шпона, разложенные на верстаке. – Но это нужно сделать, обязательно нужно сделать красиво, тогда папа непременно вернется с войны». Колька готов был лелеять эту мысль без усталости, словно это было волшебное заклинание.

Колька осторожно взял в руки нужную пластинку, которая должна была продолжить рисунок. Он погладил ее пальцами, повертел в руках. Мореная пластинка отливала приятным зеленовато-серым оттенком. Колька поднес пластинку к носу, вдохнул ее запах, вспомнил, как отец шлифовал пластинки наждаком и тканью, а потом обрабатывал их морилкой, подбирая оттенок. Кольке нравилось наблюдать процесс морения, напоминавший ему волшебство. Пластинки, имевшие первоначально обычный древесный оттенок, после морения становились непохожими одна на другую, приобретали нечто свое оригинальное и необыкновенное, словно личико появлялось у пластинки и она «оживала».

Воспоминания Кольку успокоили и даже придали ему сил и вдохновили. Он аккуратно, как показывал ему отец, нанес на пластинку тонкий слой клея, выждал немного и неторопливым движением, затаив дыхание, поднес пластинку к нужному месту и затем, как мог увереннее, стараясь подавить дрожь в пальцах, прижал пластинку к основе. Он старался, чтобы она легла, плотно прилегая к соседним пластинкам, но, тем не менее, остался малюсенький зазор, который он увидел, когда убрал от пластинки руки. Зазор был лишним и сразу же Кольку расстроил, отчего он заметно заволновался и даже разозлился на самого себя. «Вот почему же сразу получилась ошибка? – досадливо огрызнулся он в мыслях на самого себя. – Ведь хотел же, чтобы хорошо выходило!» Некоторое время он сосредоточенно взирал на ненужный зазор, будто хотел затереть его своим взглядом, но затем, сообразив, что тянуть время бесполезно, он взял следующую пластинку. В этот момент Колька делал всё сознательно и на совесть: нанеся клей, он поднес пластинку к основе еще аккуратнее и старательнее, чем в предыдущий раз, приготовился, прицелился и прижал маленький кусочек шпона к столешнице. Медленно он убрал руки и окинул робким взглядом свою работу. Теперь получилось так, что пластинка оказалась немного повернута в сторону. Противная досада сразу же захлестнула Кольку и взорвала его чувства. Он сжал ладони в кулаки, а губы его нервно задрожали. «Да что же это такое? Я же стараюсь что есть сил, а получается сикось-накось!» Кольке захотелось закричать и стукнуть кулаком по пластинке, которая легла неровно. Он уже занес вверх руку, но в то же мгновение, словно вспышкой озарения, увидел образ отца. Много раз он видел его, корпевшим над верстаком, занятым каким-то кропотливым делом. Бывало, отец напряженно дышал и быстрым коротким движением смахивал капли пота со лба, что-то неразборчиво нашептывал и закусывал тонкие бледные губы. Но никогда он не срывал свой гнев на изделия или инструментах. Колька замер как окаменевший, склонив голову над сделанной работой. Он засопел носом и заревел, но занесенную руку опустил медленно, не коснувшись столика.

Прошло минут пять неподвижного созерцания сделанного и мысленных терзаний, затем Колька, просидевший всё это время на полу, вскочил на ноги, убрал клеянку в шкаф, погасил лампу и тихо вышел из мастерской. Проходя через гостиную, он заметил свое отражение в зеркале. На его лице запечатлелось печально-подавленное настроение, кожа синевато-серого оттенка казалась покрытой мелкими песчинками, будто шел он долго по пыльной степной дороге. Взгляд карих глаз был отрешенным и растерянным, каким смотрят вокруг себя на необыкновенные предметы, оказавшись в чужом и незнакомом месте. Колька наморщил лицо, а из прищуренных глаз вытекли слезинки. Он порывисто провел ладонями рук по лицу, растирая их.

Весь вечер Колька пребывал в безрадостном сумрачном настроении. Он сидел хмурый перед окном и бесцельно смотрел на деревья и кусты сада, распластавшиеся своими растопыренными ветвями по темному и ясному небосводу. Среди ветвей виднелись звезды. Колька

не умел узнавать созвездия, и звезды казались ему беспорядочно разбросанными по небу. Ваня однажды рассказывал ему, что звезды – это огромные раскаленные шары, и находятся они очень далеко от Земли, гораздо дальше, чем Луна. Ваня умел различать созвездия и знал названия многих звезд. А еще он говорил, что вокруг других звезд тоже вращаются планеты и на какой-нибудь из них, возможно, обитают живые существа. Их общество лучше или хуже нашего, а, может быть, еще нет никакого общества вообще. «А если оно там есть, воюют ли те существа между собой? Вдруг там тоже война и там тоже есть мальчик, похожий на него, который ждет своего папу?» – мелькнула мысль.

Колька сидел, опершись локтями в колени и положив подбородок на сжатые кулаки, и задумчиво смотрел вдаль на звезды. Он еще некоторое время размышлял о существах на других планетах, а потом вспомнил о столике и маркетри. Опять его охватили жгучие терзания из-за постигшей неудачи и расстройство от сознания того, что он испортил не только сам столик, но еще разбил собственную надежду на благополучное возвращение папы с фронта. Вот это последнее было самым непоправимым и самым ужасным. «Что же теперь делать? – мучительно раздумывал Колька. – У меня был такой шанс, а я столь бездарно его испоганил». Кольке опять захотелось громко закричать от отчаяния, но он сдержался, лишь опять наморщил лоб, насутился и несколько раз подряд всхлипнул.

– Чего же ты сидишь один в темноте и реवेशь? – услышал Колька позади себя ласковый мамин голос. – Испугался разве чего?

Мама вернулась с фермы. Она зажгла лампу, подошла к Кольке сзади и обняла его за плечи, наклонилась к его голове и прижалась щекой к вихрастой макушке.

– Что с тобой? – опять спросила она.

Колька шмыгнул носом и сглотнул слюну, собравшуюся за губами. Он поежился и промолвил:

– Папа ведь обязательно вернется, да?

Он почувствовал, что с этим вопросом мать сильнее прижала его к груди. Ему не было больно, но он чувствовал дрожание ее рук и слышал учащенный стук ее сердца. Колька стал догадываться, что его вопросы на эту тему оказываются мучительными для мамы, она тоже сильно переживает и волнуется, хочет поддержать его и успокоить, но понимает при этом, как легко эта надежда может быть отнята злым роком. Она сама очень боялась этого рока, гнала от себя мрачные мысли и страхи, но те со всем едким коварством возвращались вновь и вновь.

– Я думаю, он тоже очень-очень ждет встречи с нами, Коленька, – сказала мама мягким шепотом. – Надо обязательно ждать и верить, что он вернется. Давай вместе богу помолимся, чтобы он нашего папу уберег.

– Что ты, мам, молиться богу – нехорошее дело, зачем же мы будем этим заниматься, – встrepенулся Колька и с удивлением уставился на мать.

Она тоже смотрела на него взглядом прямым, но ласковым и каким-то особенным, в котором объединились и проступали причудливыми обликами и боль измотанной души, и страх, и стыдливое признание своей человеческой слабости, и желание сказать сыну что-то сокровенное, и растерянность от незнания – каким образом сказать, как объяснить, чтобы поверил и понял. Она погладила Кольку по голове и улыбнулась ему, но вместе с улыбкой из глаз ее потекли большие блестящие слезинки.

– Да, Коленька, милый мой сыночек, мы люди сильные, трудовые, ответственные, молиться богу – это не для нас. Но сейчас, сам знаешь, время страшное – война. Люди там гибнут в боях целыми сотнями и тысячами. Это уже не то, что в мирное время... Тут уже и богу помолиться можно. Понимаешь? Мы же не просто ради чего-то, пустяка какого-то, мы ради того, чтобы родные наши живы остались.

Голос у мамы стал стонущий, просящий, жалостливый, будто бы эти ее слова и были уже молитвой. Она и смотрела на сына просящим взглядом, Колька заметил это, и в душе его сразу

же вспыхнули и схлестнулись в противоборстве два противоположных чувства: жалость к тону матери и сопротивление смыслу ее слов. Он верил ей безоговорочно, он не мог ей не верить, но в то же время ему казалось совершенно невозможным, чтобы мама всерьез говорила о каком-то мракобесии.

– Папа на нас рассердится, если узнает, – сказал Колька убежденно, насупившись, и, помолчав немного, добавил еще: – И дед тоже рассердится.

– Нет же, сыночек, нет, они не рассердятся. Они нас поймут.

Колька по-прежнему смотрел на маму с удивлением.

– А если в школе узнают? – встревожено возражал Колька. – Антонина Тимофеевна тогда перед всей школой меня выставит на линейке. Меня же тогда из пионеров исключат! – Колькин голос становился всё напряженнее и взволнованнее.

Мама опять погладила Кольку по голове и несколько раз поцеловала его в лоб, а потом вновь прижала его голову к своей груди.

– Нет-нет, не бойся, сыночка, не надо бояться. В жизни так бывает, что-то очень странным кажется и непонятным. Жизнь – она такая, в ней многого сходу не понять, сначала долго думать приходится и сомневаться. Тут важно, чтобы добрые намерения у человека были, а у нас с тобой намерения добрые.

Колька продолжал сидеть молча, глядя в окно. Перед его мысленным взором сейчас проносились столик в мастерской с испорченной столешницей, лица отца и деда, серьезные и сосредоточенные, какими они бывают в то время, когда заняты работой и сидят, склонившись над верстаками. Затем они сменились группой солдат в длинных шинелях, бегущих с винтовками наперевес, как он видел однажды на одном из плакатов в школе. Те солдаты с плаката в своем беге направлялись на своих врагов, которых олицетворяли буржуй в высоком цилиндре и пенсне, помещик, сидевший верхом на лошади, и толстый поп с выпученными глазами и красным лицом. Тот самый поп запомнился Кольке именно своей глупой и огорошенной физиономией и сейчас опять вспомнился ему, когда мама сказала о молитве. Колька окончательно утвердился в своей мысли и, вскочив решительно с табурета, выпалил стремглав, будто опасался, что не успеет сказать этого:

– Не буду я молиться! Вот ей-богу не буду!

Мама не смогла удержаться от улыбки, услышав последнюю Колькину фразу. Она вновь потрепала его по голове и мягко сказала:

– Иди-ка ты лучше спать, мой хороший.

Перед сном Колька долго ворочался в постели, его никак не оставляли в покое мысли об испорченном столе и упущенном шансе. Колька на столько убедил себя в том, что доделанный стол будет гарантией папиного возвращения с войны, что теперь даже и не думал о том, что может быть иначе. Его мысли вертелись неотступно вокруг свершившегося факта, он вновь и вновь представлял перед собой стол и рисунок на нем, скривившийся от неровно положенной пластинки шпона, он жалел о своей неосторожности и раскаивался в том, что влез в папину работу, ругал себя мысленно нехорошими словами, но успокоиться так и не мог.

В окне комнаты, рядом с изголовьем, виднелась луна. Колька уставился на нее и долго смотрел на яркий желтый диск, не отводя от него взгляда, и ему стало казаться, что тот то приближается, то удаляется от него. Ему привиделось даже, что диск становится ярче, как раскалившаяся металлическая болванка, вынутая из кузнечного горна, и один его край скривился, выгнулся и готов вот-вот лопнуть. Колька догадался, что ему всё это мерещится, и стал тереть глаза. Лежать и мучиться ему порядком надоело, но сон тоже не приходил.

Колька несколько раз повернулся с бока на бок, а потом встал с топчана, на котором была его постель, натянул штаны и маленькими неуверенными шагами направился на кухню, чтобы попить воды. Проходя мимо большой комнаты, он заметил свет за приоткрытой дверью и заглянул внутрь. Мама сидела за швейной машиной и, аккуратно надавливая на педаль, не

спеша что-то строчила. Она прострочила один шов, затем развернула шитье другой стороной и прострочила другой шов. Когда мама разворачивала ткань, держа ее на весу, Колька успел разглядеть контур большой рубахи. Он задумался, находясь в нерешительности, а затем осторожно протиснулся в полуоткрытую дверь и подошел к маме. Заметив Кольку, появившегося у нее из-за спины, мама вздрогнула и вздернула брови.

– Чего же ты не спишь? – удивленно воскликнула она.

– Не могу заснуть, – с грустью в голосе пожаловался Колька. – А что ты делаешь?

– Разве ты не видишь? Рубаху шью для папки новую, чтобы, когда вернется он с войны, у него рубаха новая была.

Колька, будто осененный внезапной догадкой, внимательно посмотрел маме в глаза. Сейчас он был уверен в том, что увидел в них ту же самую мысль, которая и ему приходила в голову. Значит, мама думает точно так же: если сшить новую рубаху, то муж непременно вернется с фронта живым и здоровым – вот какова эта логика. Та же самая идея руководит ею, что и Колькой, и она тоже верит в эту идею и поступает согласно с нею. Как только он понял это, ему сразу стало спокойнее на душе и даже веселее. Он заулыбался задорно, радуясь своей догадке, и тихо, но очень вкрадчиво попросил:

– Мамочка, сшей, пожалуйста, три новые рубахи. Три! Понимаешь, чтобы наверняка.

Мама хотела что-то ответить Кольке, но, видно, не смогла ничего выговорить. Она только улыбнулась ему в ответ и согласно закивала головой, потом обняла его за плечи и прижала к себе.

– Обязательно, сыночка, обязательно сошью, – наконец удалось прошептать ей спустя минуту, когда спазм, сковавший горло, прошел.

Они стояли так довольно долго, минут пять, а может быть, даже и десять, а потом успокоенный Колька вернулся на свой топчан. Теперь он заснул быстро и спал глубоким спокойным сном, а мама его в это время, смахивая с щек вытекавшие невольно из глаз слезы, дошивала рубаху. Колька не знал того и даже не мог заподозрить, что это была уже пятая по счету новая рубаха, которую она шила для мужа, надеясь, пусть и наивно, что это сбережет ее супруга от лихой военной беды. Доканчивая каждую очередную из них, она при этом мысленно внушала себе, что уже достаточно, что не стоит поддаваться обманчивым иллюзиям и уповать на нереальные мечты. Тем более что и ткань стоило поберечь, может, как знать, на что-то другое понадобится. Но проходило сколько-то времени и ей начинало казаться, что недостаточно еще она сделала, чтобы заслужить свое счастье жены, ожидающей мужа из дальнего похода. Да и на что еще может понадобиться эта ткань, на что, могущее быть более важным и желанным, чем жизнь родного и любимого человека?

6

Ребята сидели на телеге, стоявшей возле сарая во дворе дома Нади Колесниковой. Телега была не новая, но еще довольно крепкая, с поблекшими, слегка потрескавшимися, но еще не покоробленными досками. Ребята легко поместились в ней все и сидели, прижимаясь друг к другу спинами.

– Скучно как-то, – вымолвил угрюмо Васька, – делать нечего. Даже на огороде уже ничего не осталось.

– Вон чего, – бодро и уверенно отозвалась Надя своим звонким голоском. – Когда на огороде есть что делать, тебя туда не загнать, а теперь, когда с огорода всё убрано, жалуешься, что делать, дескать, нечего.

– Не загнать?! – вмиг оцетинился как сердитый пес задетый Васька. – Больно ты знаешь, может, я больше других в огороде работаю.

– Да, конечно, полно врать. Клавдия Ивановна сколько раз моей маме жаловалась, как тебя заставлять приходится, а ты увливаешь.

– Что?! – заводился Васька всё больше. Он насупил брови, прищурил глаза и засопел носом, что всегда было у него признаком распляющегося недовольства. – Выдумываешь ты всё, клевета это!

– Вот и не клевета, – спокойно и уверенно сказала Надя, лишь слегка обернувшись к сидевшему позади нее Ваське.

– А я говорю – клевета! – не в силах утерпеть, Васька вскочил на ноги и теперь, стоя на телеге в полный рост, эмоционально размахивал руками.

– Да ладно, Васек, – вмешался Ваня примирительно, – чего ты заводись? Если тебе не хватило работы на огороде, то сходи к старому леснику, Мирону Алексеевичу, у него многое еще не убрано. Ленька не спешит, понимаешь...

– К старому Мирону? – переспросил Васька по-прежнему задиристо. – Я не дурак, чтобы к нему ходить. Говорят, у него в доме черти поселились.

– Какие еще черти? – спросил Ваня удивленно.

– Самые настоящие черти, с рогами, хвостом и копытами. Они по дому бегают, копытами топают, мычат и посудой гремят, а сам старик Мирон при этом орет как сумасшедший. Всё это в то время, когда Ленька в бане моется.

– Откуда ты об этом знаешь? – недоверчиво спросила Надя.

– Знаю, тетка Карповна об этом рассказывала, а она на краю деревни живет, неподалеку от Миронова дома. Она сама всё видела и слышала.

– Нет там никаких чертей, – тихо и спокойно сказал Ваня. – Привиделись они Карповне. Чертей вообще на свете нет, их просто люди для книжек выдумали, для историй всяких загадочных.

Прежде чем Васька успел что-то возразить, разговор неожиданно продолжила Надя.

– Нет, их, конечно, нет, но вот однажды я настоящего черта видела.

К ней одним разом повернулись и Ваня, и Колька, и даже Васька снова сел на прежнее место.

– Где это ты его видела? – протянул Васька.

– На вашем огороде, между прочим. Что, не веришь? Я мимо проходила, на ферму шла. Подхожу к изгороди, там, что на задах, вдруг вижу: подсолнухи покачнулись, а ветра никакого нет. Остановилась я, пригляделась внимательно, вдруг из-за подсолнухов кто-то выскочил, такой серый, приземистый, сгорбленный, но быстрый и ловкий. Он подскочил вверх и одним махом перепрыгнул через изгородь, я и охнуть не успела, а он уже умчался прочь, будто

по воздуху улетел. Я на него глядела, но ничего рассмотреть не успела, кроме того, что он серый, лохматый и на голове у него будто рог. Я онемела сначала и с места сдвинуться не могла.

– А глаза у него большие? – спросил Колька тихим голосом.

– Он ко мне спиной повернут был. Я его глаз и не видела.

Васька тоже съежился, втянул голову в плечи и настороженно прислушивался к словам Нади. Он беззвучно шевелил губами, невольно нашептывая что-то самому себе.

– Черти из-за войны появились, – сказал Колька, – раньше их не было в наших краях. Черти подлавливают момент, чтобы человека в какое-нибудь лихое дело втянуть, так мне бабуля рассказывала. Черт хитростью человека одурманивает, в свое логово в лесу заманивает и там к черному делу склоняет.

– Чего он на нашем-то огороде объявился? – недоуменно пробубнил Васька. – Мы с чертями не знаем.

После небольшой паузы, во время которой все молчали, Васька опять удивленно и обиженно высказался:

– Зачем он на наш огород приходил? Чего ему надо-то?

– А он это не объясняет, попробуй сам догадайся, – ответил Колька.

– Выдумки это, – тихо и спокойно сказал Ваня, – нет никаких чертей, и раньше не было.

– Как же нет, если их люди видят, – возразил Колька.

– Им только кажется, что они их видят, на самом деле они что-то другое видят. Галлюцинации это называется, – пояснил Ваня уверенно, – я в книге об этом читал, а книгу профессор написал, он ученый и знает, что пишет.

– Всё равно страшно, я чертей очень боюсь, – призналась Надя, прижав руки ладошками к щекам.

– Как ты можешь в такую чепуху верить, – пристыдил ее Ваня, – выброси это из головы и не думай об этом.

– У меня не получается об этом не думать. Если страшно, то невольно об этом думается.

– Надо научиться не бояться.

– Как этому научиться? – засомневался Колька.

– Я знаю – как. Надо специально попасть в ситуацию, когда страшно, вот, например, в темном погребе, – пояснил Ваня. – А еще лучше, знаете что? Около леса есть подземелье, знаете?

– Как же не знать, – быстро откликнулся Васька бойко и деловито, желая показать, что он прекрасно осведомлен, – там когда-то давно склады были у буржуев, а теперь они заброшенные.

– Вот там, между прочим, очень темно, холодно и страшно.

– Да, говорят, буржуи не всё успели оттуда достать, и там осталась мануфактура. Некоторые туда ходили, хотели взять то, что осталось, но им не позволил дух старого купца Курнакова, который владел этими складами. Он набросился на пришедших и всех их задушил. Теперь там их кости лежат и в лунные ночи из подземелья стоны раздаются, – рассказывая это, Васька широко раскрыл глаза, растопырил пальцы, будто хотел схватить кого-то, понизил голос до шепота. Весь вид его стал настороженным и испуганным.

– Ох, и навидумывал же ты, – всё так же скептически проговорил Ваня.

– Говорят, скоро появятся новые хозяева – они тогда всю оставшуюся мануфактуру из подземелья достанут, – проговорила пухленькая краснолицая девочка Зина с мелкими серозелеными глазами, одетая в серенький тугий тулупчик и примостившаяся рядом с Надей.

– Какие еще «новые хозяева»? – машинально переспросил Васька.

– Что значит – «какие»? Немцы, конечно же. Говорят, они совсем скоро здесь будут, – Зина пробубнила эти слова безучастно и как-то равнодушно.

Сначала от растерянности ребята примолкли, но затем, взбудораженные и пораженные, в раз загалдели и набросились на Зину.

– Немцы?!

– С ума сошла, что ли?!

– Фашистам никогда здесь не бывать! Поняла?! Никогда им не быть хозяевами тут!

После того как ребята умолкли, Зина робко возразила:

– Они уже вон сколько стран в Европе захватили – и Францию, и Польшу...

– Мы не Франция, и не Польша! Мы – Советский Союз, фашисты об нас зубы сломают! – громко завопил Васька и энергично взмахнул кулаками.

На крыльцо вышла Надина мама Мария Федоровна и позвала ребят обедать. Они вошли в дом, разулись, сняли пальто и шапки, помыли руки в уголке кухни под потемневшим стареньким рукомойником и расселись за столом. Мария Федоровна поставила посреди стола миску с вареной картошкой, крынку со свежим молоком и стала нарезать небольшими кусочками ржаной хлеб.

– Кушайте картошку, не торопитесь, – наставительно говорила Мария Федоровна, раздавая каждому аккуратно нарезанные кусочки хлеба, – и молоко тоже пейте, молоко обязательно надо пить – оно полезное. Вам расти надо, сил набираться, впереди еще много важного предстоит сделать.

– Чего важного? – спросил Васька. – С фашистами воевать?

– Фашистов, я думаю, к тому времени уже разобьют и прогонят, но и других дел будет предостаточно.

После обеда ребята еще немного посидели и поговорили, но как-то нехотя, и вскоре мальчишки засобирались по домам. На улице стало уже сумрачно. Студеный сырой ветер дул со стороны степи. Ребята вышли за ворота. Васька, сказав «до завтра», побежал в направлении своего дома в одну сторону улицы, а Колька и Ваня пошли в другую.

– Я туда пойду завтра, – сказал Ваня твердо.

– Куда? – машинально спросил Колька, не понимая Ваниной реплики. Мысли его были уже далеко от темы их предобеденного разговора.

– В подземелье, – коротко ответил Ваня.

– Зачем?

– Как зачем? Чтобы себя готовить к преодолению страха. Мало ли чего случиться в жизни может.

Через час после этого, сидя около теплой печи и вглядываясь в темноту улицы через окно, Колька думал об этих Ваниных словах. В тот момент он услышал в них лишь сообщение, не уловив того, что Ваня, вероятно, предлагал ему пойти вместе с ним.

От этой догадки Колька невольно поежился. В душе у него неприятно защемило ощущение неизвестной опасности и противного чувства страха. Входить в подземелье, даже если ненадолго, ему не хотелось, пусть вместе с Ваней, – всё равно страшно. Можно представить, какие там скользкие, липкие, кишасшие червями, омерзительные стены и осыпавшийся свод. Там, конечно же, ползают пауки и бегают крысы, а, возможно, где-то лежат человеческие кости, в темноте их не видно, но от этого мысль о них становится только более ужасающей. «Как же Ваня один может решиться войти туда?» – едва представив себе это, Колька вздрогнул и опять поежился и в этот момент вспомнил об отце. Отец был спокойным, сдержанным и немногословным человеком, но с той, безусловно, крепкой волей, которая позволяла ему выдерживать напасти судьбы.

На следующий день, когда закончились уроки в школе, Ваня, одевшись, вышел на крыльцо и остановился. День выдался морозный, ясный, с приятным ощущением свежего чистого воздуха. Ваня обвел взглядом вокруг себя, не останавливая его ни на чем и ни к чему не приглядываясь, а просто, чтобы чем-то занять свое внимание. Он решил подождать Кольку. Тот тоже вскоре вышел из школы, и Ваня с серьезным и сосредоточенным видом шагнул к нему.

– Я прямо сейчас пойду, – сказал он коротко и как бы невзначай.

Колька почувствовал, что Ваня не просто так сообщает ему свое намерение, в его незатейливой фразе опять, как и вчера, таится скрытое предложение. Колька поднял взгляд и увидел Ванины глаза. Это были глаза человека, твердо решившего что-то, но при этом жаждавшего поддержки в своем намерении. Они были наполнены не столько уверенностью, сколько ожиданием и надеждой. «Похоже, Ваня тоже боится, но не признается в этом», – молниеносно мелькнула у Кольки догадка.

– Да, я тоже пойду, – ответил он, будто загипнотизированный Ваниным взглядом.

Они незаметно проскользнули за околицу и направились к лесу. Дождя не было уже целую неделю, и земля была сухая, лишь едва подернутая кое-где тонким белесым инеем замерзшей росы. Ветер затих, и вокруг стало тихо. Не слышно было даже птичьего крика и порхания крыльев. Кольке показалось, что природа затаилась.

До самого подземелья мальчики шли молча, не решаясь рассказывать друг другу о своих мыслях. На душе у них было беспокойно, но они старались не показывать вида. Ваня вообще по своему складу характера не любил болтать попусту, а Кольке, старавшемуся совладать с сильным внутренним волнением, было не до разговоров.

Быстрота их шага заметно убывала. Сначала, отходя от школы и выворачивая на дорогу, ведущую к лесу, они шли быстро, но затем, чем ближе они подходили к нужному месту, тем ощутимее замедляли шаг. Наконец они остановились перед маленьким покосившимся сарайчиком, со всех сторон опутанным чахлой и засохшей травой. С одной стороны стены у сарайчика не было, и именно здесь находился вход в сгущающуюся темноту подземелья. Неровные, сбитые ступени, которые сейчас были не видны под ворохом сухой травы, перемешанной с опавшей листвой, вели вниз.

Колька и Ваня стояли рядом с чернеющей пустотой и недоверчиво вглядывались в мрак. Каждый дождался, когда другой сделает следующий шаг первым. Даже у Вани решительный настрой иссяк, и он беспомощно вздохнул и часто заморгал ресницами. Он ничего не говорил и не делал, а только стоял молча и поеживался.

– Может быть, в другой раз, – негромко вымолвил Колька.

Ваня после небольшой паузы, во время которой в нем отчаянно боролись противоречивые чувства и желания, кивнул головой. Он смотрел прямо перед собой застывшим и растерянным взглядом, потом отступил на шаг и, повернув голову, посмотрел на Кольку. Колька тоже отступил от сарайчика, они еще немного потоптались в нерешительности, а затем повернулись и пошли обратно. Колька испытывал чувство облегчения от подобного поворота событий, он даже мысленно соглашался признать себя трусом, но всё равно был рад тому, что не надо лезть в темное подземелье. Ему было стыдно за свою слабость, но не так сильно стыдно, насколько было страшно, когда они стояли на пороге спуска в мрачную неизвестность. В конце концов, он успокаивал себя тем, что никакой реальной необходимости спускаться в подземелье не было, а была только Ванина выдумка о том, что так, дескать, нужно для воспитания характера. Но ему лишь так кажется, а он может и ошибаться. Короче говоря, Колька нашел сейчас для себя несколько доводов, по каждому из которых выходило, что лучше всего было поступить так, как у них сейчас и вышло, и что даже сам случай оказался на их стороне. А то, что у них не получилось почувствовать себя сейчас героями, так это в данный момент может совсем и не нужно, Колька охотно соглашался с этим подождать. Он почти уже совсем успокоился и даже стал уверять себя в том, что после сегодняшней попытки Ваня забудет о своей затее, но в тот самый момент, как он подумал об этом, Ваня внезапно остановился.

– Нет, так нельзя, – решительно сказал он уже совсем другим, жестким и даже резким голосом.

Колька прошел еще несколько шагов по инерции и оглянулся на Ваню.

– Что «нельзя»? – переспросил он непонимающе.

– Нельзя так отступать. Мы не имеем права на позорное бегство. Мы не можем уйти, не добившись своей цели. Надо обязательно сделать то, что решили, – убежденно говорил Ваня. Его худенькое бледное лицо стало как будто шире и угловатее, карие глаза его блестели необыкновенно выразительно.

«Решили? Я ничего не решал, – подумал Колька. – Но зачем же я тогда пошел?»

Он не успел продолжить ход своих рассуждений, как Ваня повернулся в сторону подземелья.

– Пойдем снова туда.

Но Колька уже настроился на возвращение в деревню, и изменить свой настрой в данную минуту он был не в силах.

– Мне домой надо, – выдавил из себя Колька скулящим голосом.

Ваня несколько секунд раздумывал, наморщив лоб, по которому беспокойно металась, колыхаемая ветром, прядь светлых волос. «Ну, давай же в другой раз! – мысленно уговаривал Ваню Колька жалобными душевными стонами. – Только не сейчас, пожалуйста!»

Но Ваня то ли не замечал стенаний Колькиной души, то ли не хотел с ними соглашаться.

– Ну ладно, – наконец заключил Ваня, – ты иди домой, раз надо, а я всё же спущусь вниз. Пока, завтра увидимся в школе.

– Пока, – невнятно ответил Колька, но вместо того чтобы продолжить путь к деревне, он остался стоять на месте, провожая взглядом Ваню, зашагавшего резво к подземелью. Пройдя метров сто, Ваня поправил шапку, плотнее натянув ее на голову, а потом, чтобы продвигаться быстрее, побежал. Прошло еще немного времени, и он скрылся за поросшим кустами изгибом дороги.

«Я пошел, потому что не хотел возразить Ване, – продолжал Колька мысленный разговор с самим собой, – потому что не хотел признаться ему, что его затея мне не по нраву, что я боюсь ее. Я пошел, надеясь, что страх постепенно как-то пропадет, что само по себе у меня получится сделать решающий шаг или Ваня, может быть, тоже раздумает, короче говоря, повел себя легкомысленно. Не получилось само по себе, не вышло. А Ваня-то думал, что я искренне его поддерживаю и в самом деле хочу испытать себя. Что же теперь? Пойти домой? А как же Ваня? Он сам справится. Что там с ним может случиться?» И тогда откуда-то со стороны, будто произнесенный кем-то невидимым, послышался ему вопрос, озвученный голосом, очень похожим на голос его отца: «Почему же ты сам тогда не стал спускаться в подземелье, ведь там ничего не может случиться?»

Колька вздрогнул всем телом от этого послышавшегося ему вопроса. Он стоял по-прежнему неподвижно, даже не отвернувшись в другую сторону, ему казалось, что ноги его приросли к земле, и он действительно поверил в это в какое-то мгновение и испугался того, что навсегда останется приросшим к этому месту, как пень к земле. Мысль о том, чтобы пойти домой, теперь казалась ему не менее ужасающей, чем мысль о том, чтобы спускаться в подземелье. «Я его здесь подожду! Обязательно подожду!» – ухватился он за новую идею. Колька стал растерянно оглядываться по сторонам, словно отыскивая где-то спрятанную подсказку, как ему действовать дальше, но никакой подсказки не было, голое ровное поле виднелось справа от него, а с другой стороны редкие кусты и деревья серыми расплывающимися силуэтами были разбросаны в пасмурном сумраке ландшафта.

Минуту или две Колька терзался в мучительных колебаниях, безуспешно пытаясь справиться с нервной дрожью в коленях и на лице, а затем с отчаянной обреченностью побежал туда, куда ушел Ваня, побежал хотя бы уже для того, чтобы не стоять на месте в неизвестности.

Около входа в подземелье никого не было, но хорошо был заметен примятый бурьян. Колька шагнул под крышу сарайчика, низко склонился над землей и нащупал в земле отверстие входа. Осторожно, чтобы не оступиться, он опустил сначала одну ногу и нащупал ею неровную, с горбатым выступом ступеньку, а потом шагнул другой ногой. Точно таким же обра-

зом он спустился еще на одну ступеньку. Колька опасался, что ноги его могут соскользнуть с кривой поверхности, и ему хотелось держаться за что-нибудь руками, но прикасаться к стенам, которых он не видел в темноте, ему было противно, и он просто сжал руки в кулаки и вытянул их по швам. Собравшись с духом и заставляя себя думать о Ване, а не о страшных мерзостях, наподобие пауков, крыс, червей и костей, которые могут встретиться в подземелье, Колька продвинулся вниз еще на одну ступеньку. Проход был узкий и низкий, и Кольке пришлось согнуться, чтобы не стукнуться головой о верхний земляной пласт. Протискиваясь подобным образом в проход, Колька едва не свалился с последней ступеньки, покачнулся, невольно взмахнул руками и задел холодные липкие стены. От неожиданности он вскрикнул. Его голос, тонкий и жалобный, показался ему глухим и незнакомым. Колькина душа всколыхнулась и затрепетала во сто крат сильнее, чем тело, внутри всё сжалось, и судорогой свело рот, из глаз потекли слезы. Колька ревел беззвучно и не знал, что ему делать. Он потерял нужное направление и не знал теперь, в которую сторону от его тела тянется проход. У него не было с собой спичек, чтобы можно было осветить вокруг, а без дополнительного света он разглядеть ничего не мог.

Вдруг справа от себя он услышал какой-то шорох. «Крысы!» – тут же мелькнула у Кольки мысль, он съежился и застучал зубами.

– Кто здесь? – раздался голос, показавшийся Кольке голосом дьявола, доносящимся из преисподней.

Колька хотел ответить, но язык его онемел и сам он весь пришел в оцепенение, а потом мысли его спутались настолько, что он не мог решить, что ответить на услышанный простой вопрос. Он выставил перед собой вытянутые руки, чтобы загородиться от того неведомого, что было впереди. Прошло несколько секунд, показавшихся Кольке очень длинными. Ничего не происходило. Осторожно он сделал короткий шаг вперед. Под ногой зашуршала галька. Колька при этом съежился, как от громового раската.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.